

Сергей Воронин

Сергей Воронин

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ТРЕХ ТОМАХ

том
1

«СОВРЕМЕННОСТЬ»
МОСКВА
1981

P2
B75

Вступительная статья
Л. Емельянова

БОЛЬШОЙ МИР МАЛОГО ЖАНРА

Писатели, особенно прозаики, редко бывают привержены какому-нибудь одному жанру. Кем бы они ни были по основному своему «профилю» — романистами, мастерами рассказа или очерка, — каждый из них, как правило, охотно обращается к соседним жанрам: романисты пишут рассказы и очерки, повести и сценарии, из новеллистов же и очеркистов мало кто не помышляет о широком полотне.

Это естественно. Потому что выбор жанра определяется не прихотью писателя и даже далеко не всегда его прирожденными жанровыми вкусами, а в первую очередь характером самого материала, типом и структурой той художественной идеи, которая возникает у писателя в каждом данном случае в связи со строго конкретными обстоятельствами. «Пока не пробил час романа, — писал Чехов, — буду продолжать писать то, что люблю, то есть мелкие рассказы в 1—1,5 листа и менее. Растягивать неважные сюжеты на большое полотно — скучно, хотя и выгодно». Еще «программнее» высказывался Достоевский: «Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдет себе соответствия в драматической. Я даже верю, что для разных форм искусства существуют и соответственные им ряды поэтических мыслей, так что одна мысль не может никогда быть выражена в другой, не соответствующей ей форме».

Тем не менее, а лучше сказать, тем более, определенные жанровые пристрастия у писателя все же существуют, и с ними приходится считаться хотя бы уже потому, что они есть выражение особой восприимчивости писателя к явлениям тоже в некотором роде особым, а эти последние, естественно, формируют у писателя и «особые ряды поэтических мыслей», то есть то, что в конечном счете и определяет жанр. Вот потому-то, если нет или почти нет писателей, пишущих, скажем, только романы или только рассказы, то есть писатели-романисты по преимуществу и новеллисты по преимуществу же.

Сергей Воронин — писатель достаточно разносторонний. Он — автор двух романов, более десяти повестей, нескольких киносценариев и пьес. Не писал он (во всяком случае, не печатал) разве что стихов. И все же вряд ли мы ошибемся, если скажем, что когда речь идет о Воронине, о том, какими сторонами своего творчества он вошел в сознание современного читателя, то на память приходят не только романы его и повести, а пражде всего рассказы, блестящие воронинские рассказы, давно уже и по праву занявшие одно из виднейших мест в современной советской новеллистике.

А. Н. Толстой писал в свое время, что «новелла — труднейшая форма искусства. В большой повести, — пояснял он свою мысль, —

можно «заговорить зубы» читателю превосходными описаниями, остроумными диалогами,— мало ли чем... Здесь же вы весь на ладони. Вы должны быть умны, вы должны быть значительны,— малая форма не освобождает вас от большого содержания. Вы должны быть лаконичны, как поэт в сонете, но лаконичность должна получаться от концентрации материала, от выбора только самого необходимого».

Эти слова в полной мере могут быть отнесены к рассказам Воронина. Но, пожалуй, еще раньше они должны быть отнесены к самому Сергею Воронину, к самому, если можно так выразиться, типу его таланта. Ибо многое из того, что характеризует искусство рассказа, заключено в самой природе воронинского художественного мировосприятия. Это, разумеется, не значит, что Воронин родился, так сказать, готовым мастером и не знал на своем пути никаких творческих затруднений. Отнюдь нет. Процесс творческого становления и литературной учебы был и у него, как у всякого настоящего художника, достаточно длительным. Речь о другом — об особом характере его художественного видения, о его прирожденной способности мгновенно схватывать эстетическую значимость единичных фактов и четко, афористически-законченно формулировать их сокровенный смысл, тонко и сложно связанный с большими нравственно-социальными проблемами. Именно эта особенность его художественного восприятия предопределила, на мой взгляд, и его жанровые вкусы, именно ей и соответствующему ей «ряду поэтических мыслей» оказался в наибольшей степени созвучным жанр рассказа.

До сего времени произведения Воронина выходили отдельными сборниками, печатались в самых разнообразных сочетаниях и, пожалуй, лишь специалисты могли проследить в развитии его творчества общую линию, определенный «сюжет». В настоящем издании этот недостаток устранен. Все произведения Воронина, в том числе рассказы, печатаются в строго хронологическом порядке, и, в сущности, уже эта простейшая систематизация дает наглядное представление о том, как и в каком направлении развивалось его творчество, как и какие художественные задачи он ставил перед собой.

«Звонят ручьи», «В тайге», «Холостой выстрел», «Таежник». Первые рассказы, начало пути. Романтика таежных приключений, экзотика характеров и ситуаций. Подчеркнутая сюжетная изысканность, если не сказать вычурность... И тут же — свежесть взгляда, тонкая оригинальность интонации.

Об этих первых рассказах мы вспомним и потом, при чтении романа «Две жизни». И не только потому, что увидим их в составе романа. Примечательнее другое — тот принципиально новый подход к изображаемому, который отличает эти рассказы в составе романа и который многое объясняет в истории самого романа.

Дело в том, что у романа «Две жизни» тоже было в некотором роде «две жизни», две судьбы, в творческом плане в высшей степени поучительных. Первая относится к далеким довоенным временам, точнее сказать, к 1938 году, когда молодой Сергей Воронин, незадолго до того побывавший с изыскательской экспедицией на Дальнем Востоке (в местах нынешнего БАМа), написал роман под названием «Изыскатели». Материал в его руках был богатейший, писал он с огромным увлечением, но роман при всем

том не получился. Сказалось тут, конечно, отсутствие необходимого литературного опыта, но в еще большей степени — характер тех представлений о сущности художественного творчества, которые сложились к тому времени у молодого автора. «Всех героев, — вспоминал он позже, — начиная с начальника партии и кончая третьестепенным персонажем, всех я стал выдумывать. Получился какой-то удивительный гибрид — пейзаж реальный, то, что было в дневнике, труд — также, путь — тоже, а люди несуществующие... Казалось бы, чего проще обратиться к тем, с кем работал! Но я этого сделать не мог, мне они все казались тогда неинтересными...»

«Неинтересными» — в этом все дело. Неинтересными не вообще, а прежде всего потому, что в реальных жизненных ситуациях, в которых они предстали перед будущим писателем, они не могли дать ему материала для тех изысканно-занимательных фабул, которые, как он сам признавался, казались ему «верхом мастерства». Он стремился к тому, чтобы его герои «походили на героев приключенческих книг», он желал иметь дело с яркими, броскими личностями, живущими полной размахистой и живописной романтики жизнью. Люди же, его окружавшие, явно «отставали» от этих романтических эталонов, а потому не могли эстетически заинтересовать и увлечь его, не могли стать для него достойным предметом художественного изображения. А потому из всего написанного он использовал лишь отдельные эпизоды, которые отличались относительной сюжетной законченностью, а главное, поддавались обработке в духе его тогдашних представлений о литературе. Именно таково было происхождение большинства из его «таежных рассказов».

Более двадцати лет спустя он вновь вернулся к своему давнему замыслу, и это стало вторым — и настоящим — рождением романа «Две жизни». Материал, на котором он создавался, был тот же, что и прежде, — старый экспедиционный дневник, — но послужил он теперь основой совсем иной (в сравнении с романом «Изыскатели») книги. Ибо зрелому писателю, опытному мастеру, Сергею Воронину он открылся теперь такими своими сторонами, мимо которых прошел юный автор «Изыскателей». «Записи, — вспоминает Воронин, — помогли мне мгновенно вспомнить людей. И как! Сквозь годы я увидел их разными, какими они и были на самом деле, все нехарактерное для каждого из них время словно бы смыло, оставив в памяти только присущее тому или иному изыскателю... И каждого изыскателя, на какого бы я ни посмотрел с вершины прожитых лет, я увидал иным, то есть очищенным временем от мелочей».

Что же произошло?

Многое. И прежде всего то, что Воронин стал писателем. Нет, не в том общераспространенном смысле, что он приобрел необходимый литературный опыт, научился писать. Важнее другое: в процессе своего многолетнего творческого развития он утвердился в новом отношении к явлениям действительности, выработал принципиально новый угол зрения на них. За внешней оболочкой явлений он научился различать их реальное жизненное наполнение и их глубинную взаимосвязь, причем лишь в этой реальной «оркестровке» и в этой взаимосвязи они стали обретать для него и свой смысл и свою художественную значимость.

Вот потому-то люди и события, зафиксированные в экспедиционном дневнике молодого изыскателя Сергея Воронина, претерпели столь удивительное превращение в другом дневнике — путевых записках Алеши Коренкова, в форме которых написан роман «Две жизни». Потому-то путевые впечатления автора экспедиционного дневника превратились в яркий, проникновенный рассказ о нравственном развитии, глубоком духовном возмужании нашего современника. Потому, наконец, пестрые и разноречивые события и факты, занесенные в дневник, сложились в стройный, композиционно осмысленный ряд, подчиненный раскрытию центральной идеи романа — идеи напряженной, полной драматических коллизий борьбы «двух жизней», из которых одна — это жизнь людей, беззаветно преданных делу, людей благородных и самоотверженных (Костомаров, Ирипа, Перваков, Мозгалеvский, сам Алеша Коренков), и вторая — бескрылое, но чрезвычайно цепкое существование мелких людишек, для которых жизнь — это форма постоянного и беспринципного приспосабливания к обстоятельствам во имя личного благополучия, — таковы Градов, Лыков, Яков Сторублевый, Зацепчик, Коля Николаевич и др.

О романе «Две жизни» в свое время было написано очень много, и нет нужды ни повторять здесь уже высказанных суждений, ни дополнять их в чем-либо, тем более, что в суждениях этих критика оказалась не только единодушной, но и, пожалуй, исчерпывающе обстоятельной. Мне же хотелось бы обратить внимание лишь на одну деталь — на то, в каком, так сказать, качестве «вернулись» в роман «Тасжные рассказы» и как они отразили новый творческий опыт Воронина.

Если иметь в виду чисто фабульную их сторону, то может показаться, что в роман они вошли почти без всяких изменений. Однако изменения произошли — и очень существенные. Включая эти рассказы в широкий реалистический контекст романа, Воронин как бы «расшатывает» их первоначальную романтическую основу, лишает их той резкой сюжетной исключительности, печатью которой они были отмечены, будучи самостоятельными рассказами. Вступая в мир романа, они подчиняются действующим в нем законам. И, в сущности, уже одно это дает нагляднейшее представление о той качественной эволюции, которую претерпели творческие принципы Воронина со времен «Тасжных рассказов». Отказавшись от того единственного, чем герои этих рассказов были для него тогда интересны, он сумел сделать их по-настоящему интересными самым простым и самым убедительным способом — показав их в действительной, а не придуманной жизни.

Роман «Две жизни», явившись одним из крупнейших достижений Воронина-художника, не столько, однако, продолжил, сколько замкнул «эпическую» линию в его творчестве — к «широкоформатным» жанрам Воронин более не обращался. Но если он отошел от эпического жанра как такового, то эпическое полотно, притом необычайно широкое, он тем не менее создал. Ибо его рассказы и повести (жанр, в воронинском исполнении очень близко примыкающий к рассказу) в совокупности своей создают такую картину, которая по широте охвата действительности, по многообразию человеческих характеров и нравственно-социальных проблем оказывается поистине эпически всеобъемлющей.

Произведения Воронина последних двух десятилетий в чисто условном плане можно разделить на две большие и почти равновеликие группы.

Первая — это произведения, в которых социальная проблематика носит особенно подчеркнутый, особенно конкретный характер. «Деревенские» рассказы начала 60-х годов «Ночные страхи», «За второй скобкой», «Весенние раздумья», «Василиса Прекрасная», повести «Деревянные пяточки», «Заброшенная вышка» — содержание всех этих произведений вполне определенно соотносится с совершенно конкретными моментами в развитии нашего общества, с совершенно реальными проблемами, выдвигавшимися в разное время в фокус общественного внимания. Сходны они и в другом отношении — всем им присуща предельная четкость и детальность сюжетной графики и связанная с этим почти публицистическая категоричность авторского вывода. Каким бы сложным ни был сюжет и каким бы неожиданным ни казался вывод, все необходимые звенья, приводящие именно к такому выводу, акцентируются резко и определенно. Оттого иные из этих рассказов звучат, быть может, несколько «громче», чем следовало бы; в какой-то мере им не хватает той эмоциональной сдержанности, о которой некогда говорил Чехов.

Во второй группе произведений писателя привлекают проблемы более общие, непосредственно как бы не соотносящиеся с текущим моментом. Разумеется, это вовсе не означает, что произведениям такого рода вообще не свойственна социальность. Отнюдь нет. Просто действительность в них изображается прежде всего со стороны тех многообразных следствий, которые она дает в нравственном развитии человека, и в соответствии с этим на первый план выдвигаются проблемы морально-психологические. Наиболее характерны в этом отношении рассказы «Только бы не было ветра...», «Убийство», «Утонул Никитин», «Пять домов», «Белевич», «Лошадь убили» и многие другие, повести «Семейный кухонь», «Отпуск в Кузёлево», «Последний заход». И написаны они, эти произведения, совсем по-иному. Я бы даже сказал, что именно в них характерные особенности новеллистической манеры Воронина проявились с наибольшей полнотой. Графика сюжета в них уже не столь рассудочно-детальна, как в произведениях «публицистического» плана, в ней уже больше лаконичных обобщающих линий. Писатель часто не боится пожертвовать тем или иным сюжетным звеном, смело сближает эпизоды, казалось бы, требующие большего сюжетного опосредования, и тем самым резко усиливает энергию сюжета, его характерность и выразительность.

В прежние годы Воронин, как он сам признавался, любил неожиданные концовки. В поздних его рассказах тоже есть этот элемент неожиданности. Только заключен он не в повороте событий, а в самом их осмыслении, в характере философского подтекста произведения. В нем, этом подтексте, и реализуется внутренний, глубинный и, по сути, главный сюжет его рассказов.

Лев Толстой любил повторять, что «цемент, который связывает всякое художественное произведение в одно целое и оттого производит иллюзию отражения жизни, есть не единство лиц и положений, а единство нравственного отношения автора к предмету».

Единство нравственного отношения — это, конечно, прежде всего позиция писателя, как сказали бы мы сегодня. Однако не только позиция. Это еще и определенная степень постижения жизни, умение отразить ее в ее собственных формах, глубокое ощущение эстетической самоценности этих форм — одним словом, это настоящая творческая зрелость, в равной мере предполагающая и точность жизненной позиции писателя, и полноту ее художественного выражения.

В эту пору — пору своей наивысшей творческой зрелости — Сергей Воронин вступил уже давно, и можно сказать, что сегодня это пора умудренности. Сегодня это писатель, от которого читатели по справедливости ждут многого, хорошо зная и помня им самим сказанные слова: «Нет такой темы, которую было бы нельзя решить на пользу народу».

В 1976 году Сергею Алексеевичу Воронину была присуждена Государственная премия РСФСР имени М. Горького. Книга, отмеченная премией, называется «Родительский дом». Название в высшей степени характерное. Действительно, мир, в котором живет писатель, жизнь, которая шумит вокруг него и на страницах его произведений, — это для него в подлинном смысле слова Родительский Дом, существующий издревле и — навеки. Оттого так близко его сердцу все, что происходит в этом доме. Его будни и праздники, его радости и печали. Он свято чтит память тех, чьими трудами возведены стены этого дома, чьими подвигами защищены и прославлены. Он горячо любит тех, кто живет и работает в нем сегодня. Живет и работает вместе с ним — с писателем.

Л. Емельянов

ДВЕ ЖИЗНИ

РОМАН

- Как-то, перебирая старые рукописи, альбомы фотографий, я натолкнулся на толстую кипу связанных веревкой тетрадей. Они были в пыли, потрепанные, с пожелтевшими страницами, с рисунком «Дуэль Пушкина» по картине А. Наумова.

Это были мои дневники. Дневники младшего техника изыскательской партии. С чувством светлой грусти я стал их перелистывать. Много вспомнилось, и радостное и печальное.

Теперь, когда прошло более двух десятилетий, когда многих из участников таежной экспедиции нет в живых, а моя юность безвозвратно осталась там, мне показалось возможным и нужным открыть эти дневники. Может, они послужат доброму делу и позовут кого-нибудь в дорогу.

ТЕТРАДЬ ПЕРВАЯ

19 апреля 1937 года

Не знаю, чем все кончится, но будь что будет... Из вестибюля тянет прохладой, которая в теплую погоду всегда ютится в каменных зданиях. Темный коридор ведет в большой зал. Свет в этот зал падает сверху, через стеклянную крышу. В его мягком, ровном потоке видны склоненные над столами фигуры людей.

Это изыскатели. Я о них много слышал от своего брата, инженера-путейца. Бесстрашные люди. Они ничего не боятся. Им не страшны морозы и ливни, голод и холод. Город их томит. Он узковат для характеров этих людей. Их тянет на Северный полюс! В тундру! На Колыму! Там раздолье. Там настоящая жизнь...

Мимо меня прошла высокая, подстриженная под мальчишку девушка.

— Ирина! — позвал ее широкогрудый, похожий на спортсмена, изыскатель.

— Что тебе, Лыков? — весело спросила она.

Такого лица, как у нее, я еще никогда не видел — будто однажды солнечный луч осветил его и навсегда остался в ее карих с золотыми искорками глазах.

— Ничего. Рад на тебя смотреть.

Она улыбнулась и пошла дальше. А я почувствовал, как сердце охватила замирающая боль, и почему-то стало и радостно и грустно.

— Новый вахтер? — Лыков насмешливо смотрел на меня, сдвинув густые шелковистые брови.

— Н-нет... почему же...

— Тогда какого черта стоите у дверей?

— Ах вот что... — Я отошел и спросил, где находится начальник экспедиции.

— Зачем?

На меня пытливо смотрели серые дерзкие глаза. Обычно люди с такими глазами в приключенческих повестях выдаются за людей отважных.

— У меня к нему письмо от инженера Коренкова.

— От инженера Коренкова? А кто это?

— Мой брат.

— Ваш брат... То-то я не знаю такого крупного деятеля.— Он усмехнулся.— Ну что ж, спешите. Лавров уходит.

По узкому коридору шел в сером плаще, с прямой трубкой во рту, могучего сложения человек.

— У меня к вам письмо,— сказал я ему, как только он поравнялся со мной.

Он вскрыл конверт. На его крупных, слегка вывернутых губах появилась улыбка. Тут же на моем заявлении он наложил резолюцию и, не вынимая трубки изо рта, сказал:

— В третью партию. Спросите Мозгалевского Олега Александровича. А брату сердечный привет.— И, обдав меня вкусным запахом дорогого табака, ушел.

Я и не предполагал, что так все просто и быстро решится. Я думал, Лавров будет расспрашивать, где работал, в каких экспедициях бывал,— а я нигде не бывал: брат кое-что рассказал мне, сунул книжку «Справочник изыскателя», и на этом мое геодезическое образование закончилось. Меня так легко было уличить во лжи: ведь в заявлении я назвал себя младшим техником,— но, слава счастливому случаю, Лавров ничего не спросил.

Мозгалевский оказался маленьким старичком с пушистыми, чуть ли не до самых ушей, усами. У него тоже во рту трубка, но не прямая, как у Лаврова, а изогнутая, коротенькая, дымившая ему прямо в нос.

— Чудненько,— посмотрев на мое заявление с резолюцией начальника экспедиции, сказал Мозгалевский.— Очень кстати подоспели. Вот вам калька, тушь, готовальня. Снимите с планшета эту кривую.

Все совершалось как в сказке. Никто ни о чем не спрашивал. Просто чудо какое-то!

Калькировать я умел, и мне не стоило большого труда снять кривую. Я уже заканчивал работу, когда ко мне подошел Лыков.

— Ого, вьюнош уже старается! — сказал он.

— Меня зовут Алексеем,— сказал я.

— Это не имеет значения. К тому же запоминать имена не моя профессия... Вьюнош, коротко и ясно...

Справа от меня раздалось фырканье. Смеялась смугленькая девушка, тоже, как и Ирина, подстриженная под

мальчишку. Встретившись со мной взглядом, она опустила голову, отчего ее короткие черные волосы, как шторка, закрыли глаза.

Тут подошел Мозгалеvский. Он бросил на стол пачку синек и строго спросил:

— В чем дело, Аркадий Васильевич?

— Я к лаборантке Калининой. Не так ли, Тася?

Шторка поднялась и тут же упала.

— Шли бы вы на свою геологическую половину. Не мешайте работать,— сказал ему Мозгалеvский и, забрав от меня готовую кривую, дал переписать какую-то ведомость.

Я переписал ее быстро.

— Чудненько! — обрадовался Мозгалеvский. — Очень кстати вы подоспели. Теперь попрошу вот это... — Но зазвенел звонок, рабочий день кончился, и Мозгалеvский с сожалением и горечью посмотрел на гору папок, планшетов и калек. — Остались считанные дни до отъезда, начальника партии все нет, а работы по горло.

— Я могу задержаться.

Из-под седых бровей выглянули ласковые глаза.

— Думаю, мы с вами сработаемся,— улыбнулся Мозгалеvский.

Так прошел первый день.

Скорей, скорей бы уехать! Там, в тайге, за тринадцать тысяч километров, будет поздно от меня освобождаться. Там заменять меня будет некому, и волей-неволей будут меня учить, и я стану техником-изыскателем. Только бы уехать! Но, как и всегда, чем больше мечтаешь, тем труднее сбывается мечта. Провалиться так просто.

— Надо снять карту бассейнов,— раскладывая передо мной планшет, сказал на другой день Мозгалеvский. — Все протоки, реки, ручьи на кальку. Пригодится в поле.

— В поле?

— Да.

— А разве мы будем работать не в тайге?

— А вы что, не знаете, что всякие изыскания называются полем? Полевые изыскания,— ответил Мозгалеvский и пристально посмотрел на меня.

Скорей, скорей бы уехать!

Сегодня мне выдали аванс — пятьсот рублей. Дали железнодорожную форму: китель и брюки — и две «гаечки». Вечером я оделся, ввернул в каждую петлицу по «гаечке» и беспрепятственно прошел без перронного билета на вокзал. Походил по перрону и вернулся домой. А там всю собирают меня в путь-дорогу. Хлопочет мама, укладывает белье. Невестка, жена брата, всегда злая и не улыбочивая, помогает матери и ласково смотрит на меня. Как только я уеду, она сразу же переберется в мою комнату.

Я уже купил ружье-одностоволку, порох, дробь. Купил прямую трубку и несколько пачек «капитанского» табаку (такой табак курил Лавров). Я хоть сейчас готов в путь. Но нет команды. И приходится ждать, ждать, ждать. Я плохо сплю: то мечтаю, как буду охотиться в тайге, — там много всякого зверья, — то со страхом думаю о том, как меня разоблачат и с позором выгонят из экспедиции...

— Рад вас видеть, — сказал Мозгалевскому высокий, с приплюснутым черепом, пожилой изыскатель в великолепном костюме. Это начальник участка Градов. В экспедиции шесть партий, по три на участок. Мы подчиняемся Градову.

— Как отдохнули? — спросил Мозгалевский, поднимая на лоб очки.

— Как отдохнул? Превосходно отдохнул. — Градов окинул взглядом планшеты, кальки. — Думаю, что вам по сравнению с другими партиями повезло, — сказал он, постукивая мундштуком папиросы о большой плоский ноготь.

— Вы имеете в виду правобережный вариант?

— Да, имею в виду правобережный вариант. Я его изыскал три года назад.

— А левый берег совершенно не в счет?

— Левый берег? Да, совершенно не в счет.

— А пойменный?

— Что пойменный? — Градов округлил ноздри и чуть вздернул голову.

— Возникает еще пойменный вариант. Надо ознакомиться с ним.

— Знакомьтесь. Но знайте, что будет принят только правобережный, — строго сказал Градов.

— А я и не возражаю, — неожиданно мягко улыбнулся Мозгалевский, — больше того: полагаю, что и впрямь

нам нечего мудрить. Надо брать ваши рекогносцировочные изыскания и переводить в окончательные.

— Да, это будет самое правильное, и тут я ваш первый помощник.

— Чудненько! — сказал Мозгалеvский и опустил на переносье очки.

Я уже почти всех знаю, кто входит в нашу партию. Шесть путейцев, четыре геолога, завхоз и радист. Радист живет в Москве и прямо оттуда поедет на изыскания. Лыков в нашей партии. Ирина, та высокая девушка с веселыми глазами, тоже с нами. Я рад этому. С нами и смугленькая Тася. Среди путейцев два молодых инженера — Зацепчик и Покотилов. У Покотилова в левой черной брови пучок белых волос. Он рослый, флегматичный. Зацепчик, несмотря на молодость, уже лысоват, все лицо у него в угрях. По-моему, с таким лицом надо быть скромнее, но он держится надменно. Есть еще старший техник-путеец Коля Стромиллов. Мозгалеvский его зовет ласково Коля Николаевич. Коля Николаевич немногим старше меня. Ему двадцать три года. Но он уже был в двух экспедициях, может вести пикетаж, нивелировать. В свое время он кончил курсы геодезистов.

— Целый год в тайге — это не зонтик раскрыть. Если у кого неуживчивый характер, пропадет! Тебе говорил Олег Александрович: «Мы с вами сработаемся»? — спрашивает он меня.

— Говорил.

— Он это всем говорит. И имей в виду: если не работаетесь, то будешь виноват только ты.

— Почему?

— Так это ж ясно, как пирог с брусникой: он старый изыскатель, а ты?

Я тут же с ним соглашаюсь, опасаясь, как бы разговор не пошел по линии уточнения моего изыскательского стажа.

И сегодня не уехали. Но все идет к тому, что скоро тронемся в путь. Вот о чем говорил Мозгалеvский с завхозом партии Сосниным.

— Вы составили опись имущества? — спросил Мозгалеvский.

— Никак нет! — ответил Соснин. Длинный, он ходит в немых бриджах, в шинели, подметающей пол.

— Составьте, немедленно составьте. Один экземпляр положите в вагон с грузом, другой дадите мне, третий — себе в бумажник. Вдруг крушение, и иск не примут. Описи-то нет!

— В каком поезде пойдет груз?

— В вашем. Вместе с ним поедете.

Соснин задумался.

— Тогда зачем же три? — в раздумье сказал он. — Если будет крушение, то и мой экземпляр и тот, что пойдет с грузом, одновременно погибнут. Значит, хватит и двух. Вам один и мне один.

— Насчет крушения я на всякий случай сказал. Бог милостив.

— В бога не верю. Значит, крушение возможно? — Соснин опять задумался.

— Да нет, что вы, голубчик, я просто так... — извиняющимся тоном сказал Мозгалевский.

— Значит, пошутили? Проверяете, не трус ли Соснин? Смею вас заверить... — повысил голос завхоз.

— Да нет, что вы, — стал успокаивать его Мозгалевский.

— Трусом никогда не был! — загремел под стеклянными сводами голос Соснина.

— Очень рад, очень рад, — поспешно сказал Мозгалевский. — Успокойтесь и, пожалуйста, составьте три экземпляра описи.

— Все же три?

— Три.

— Есть! — Соснин щелкнул каблуками и ушел.

— Какой темпераментный, — удивленно произнес Мозгалевский и пошевелил усами, — нельзя ничего сказать.

Тася фыркнула и посмотрела на меня из-под шторки. Я засмеялся.

— Между прочим, мы едем тем же поездом, каким и Соснин, — сказал Коля Николаевич. — Лавров звонил из наркомата и дал распоряжение отправить первую группу: завхозов, буровых мастеров и техников.

— Честное слово? — крикнул я и стал трясти ему руку.

— Вот чудак-рыбак, я говорю, что ехать будет опасно, а он...

— Да это ты чудак! Ехать! Да это же прекрасно!